

СТЕПАН ДАЛЪ

Любовный нативок



Annotation

«В семнадцать лет Федер, один из самых элегантных юношей Марселя, был изгнан из родительского дома; он совершил величайший проступок – женился на актрисе из Большого театра. Его отец, высоконравственный немец и богатый негодичант, уже давно обосновавшийся в Марселе, по двадцать раз на день принимался проклинать Вольтера и французскую иронию. В странной женитьбе сына его больше всего, пожалуй, возмутили кое-какие легкомысленные фразы во французском духе, с помощью которых юноша пытался оправдаться...»

- [Фредерик Стендаль](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
-
-

Фредерик Стендаль

Федер

В семнадцать лет Федер, один из самых элегантных юношей Марселя, был изгнан из родительского дома; он совершил величайший проступок – женился на актрисе из Большого театра. Его отец, высококонравственный немец и богатый негодник, уже давно обосновавшийся в Марселе, по двадцать раз на день принимался проклинать Вольтера и французскую иронию. В странной женитьбе сына его больше всего, пожалуй, возмутили кое-какие легкомысленные фразы во французском духе, с помощью которых юноша пытался оправдаться.

Верный моде, хотя он родился в двухстах лье от Парижа, Федер повсюду кричал о своем презрении к торговле, – очевидно, потому, что такова была профессия его отца. Кроме того, потому лишь, что ему нравились несколько хороших старинных картин Марсельского музея и внушала отвращение современная мазня, отправляемая правительством в провинцию, юноша вообразил, что он художник. На художника он был похож только одним – презрением к деньгам, да и это чувство происходило главным образом от его отвращения к работе в конторе и к занятиям отца: он их стыдился. Мишель Федер, без конца поносивший тщеславие и легкомыслие французов, никогда не сознался бы своему сыну в том, какое райское наслаждение доставляли его собственному тщеславию похвалы компаньонов, когда те делили с ним прибыли от какой-нибудь выгодной спекуляции, родившейся в голове старого немца. Но он возмущался тем, что, несмотря на все его проповеди нравственности, компаньоны быстро тратили свои прибыли на загородные прогулки, на охоту и прочие здоровые физические развлечения. Для него же, почти никогда не покидавшего задней комнаты своей конторы, все удовольствия заключались в томе Штедингга и толстой трубке. Так он скопил миллионы.

Когда Федер влюбился в Амели, молоденькую семнадцатилетнюю актрису, только что окончившую театральную школу и имевшую большой успех в роли «Маленького матроса», он умел делать только две вещи: ездить верхом и рисовать портреты-миниатюры. Портреты его отличались поразительным сходством, в этом достоинстве им нельзя было отказать, но оно было единственным, которое могло бы оправдать притязания художника. Все портреты были ужасающе уродливы и достигали сходства лишь путем преувеличения недостатков оригинала.

Мишель Федер, всеми уважаемый глава фирмы «Мишель Федер и К», по целым дням проповедовал естественное равенство, но так и не смог простить своему единственному сыну женитьбу на какой-то актрисе. Тщетно пытался поверенный, которому было поручено опротестовывать адресованные фирме просроченные векселя, обратить внимание старика на то обстоятельство, что брачный обряд его сына был совершен лишь испанским капуцином (на юге еще не дали себе труда понять значение брака, заключенного в мэрии). Мишель Федер, уроженец Нюрнберга и рьяный католик, – они все таковы в Баварии – считал нерасторжимым всякий брак, к которому примешивалась святость таинства. Неумеренное тщеславие немецкого философа было особенно задето провансальской прибауткой, которая быстро облетела весь город:

Федер на сына смотрит косо,
В невестки получив матроса.

Оскорбленный этим новым злодеянием *французской иронии*, старик объявил, что никогда в жизни не увидит больше своего сына, и послал ему полторы тысячи франков вместе с приказанием никогда не показываться ему на глаза.

Получив полторы тысячи франков, Федер подскочил от радости. С невероятными трудностями ему удалось и самому собрать почти такую же сумму, и на следующий день он уехал в Париж, средоточие ума и цивилизации, вместе со своим «Маленьким матросом», который был в восторге оттого, что снова увидит столицу и подруг по музыкальной школе.

Спустя несколько месяцев Федер потерял жену, которая умерла, подарив ему малютку дочь. Он считал своим долгом известить отца об этих двух важных событиях, но несколькими днями позже ему стало известно, что Мишель Федер разорился и бежал. Огромное состояние вскружило голову старому коммерсанту; движимый тщеславием, он начал мечтать о том, чтобы завладеть всем сукном определенного сорта, какое только выделывается во Франции. На кромке каждой штуки сукна он хотел видеть вышитыми слова «Feder von Deutschland» («Федер из Германии»), а затем поднять вдвое цену этих сукон, которые, разумеется, стали бы называться «сукнами Федера», что должно было его обессмертить. Этот замысел, чисто французский, повлек за собой полное банкротство, и наш герой с тысячей франков долга и с маленькой дочкой на руках оказался в Париже, которого он совершенно не знал и где каждому реальному образу он противопоставлял какую-нибудь химеру, плод своей фантазии.

До сих пор Федер был просто фатом, в глубине души чрезвычайно гордившимся богатством своего отца. Но, к счастью, намерение стать когда-нибудь знаменитым художником побудило его с увлечением прочесть Мальвазию, Кондиви и других историков, описывающих жизнь великих итальянских живописцев. Почти все это были люди бедные, отнюдь не склонные к интригам, не пользовавшиеся благосклонностью фортуны, – и вот, сам того не замечая, Федер привык считать почти счастливой жизнь, заполненную пылкими страстями, и не придавать большого значения, горестям, связанным с отсутствием денег или платья.

Когда умерла его жена, Федер снимал маленькую меблированную квартирку на пятом этаже у г-на Мартино, сапожника на улице Тебу, который обладал порядочным состоянием и сверх того имел честь быть капралом национальной гвардии. Природа-мачеха наделила г-на Мартино не вполне подходящим для военного ростом в четыре фута десять дюймов, но, будучи истинным художником в обувном ремесле, он сумел вознаградить себя за этот обидный физический недостаток: он соорудил себе сапоги с каблуками в два дюйма, в стиле Людовика XIV, и постоянно ходил в великолепной медвежьей шапке высотой в два с половиной фута. В таком наряде он имел счастье быть задетым пулей в плечо во время одного из парижских восстаний. Эта пуля, неизменный предмет размышлений Мартино, преобразила его характер и сделала из него человека благородного образа мыслей.

К тому времени как Федер потерял свою жену, он уже четыре месяца не вносил г-ну Мартино квартирной платы, иначе говоря, задолжал ему триста двадцать франков. Сапожник сказал ему:

– У вас горе, я вовсе не хочу притеснять вас. Напишите мой портрет в мундире, в солдатской меховой шапке, и мы будем в расчете.

Портрет этот, до отвращения похожий, возбудил восторг всех окрестных лавочников. Капрал повесил его рядом с зеркалом без амальгамы, какие, по английской моде, обычно вешают при входе в лавку. Вся рота, к которой принадлежал Мартино, пришла полюбоваться картиной, и несколько солдат национальной гвардии возымели блестящую мысль основать в мэрии своего округа музей. Музей этот предполагалось составить из портретов всех тех солдат национальной гвардии, которым выпала честь быть убитыми или ранеными в боях. В роте было еще двое раненых, и Федер написал их портреты, обладавшие все тем же чудовищным сходством. Когда же возник вопрос о вознаграждении, он ответил, что и без того слишком счастлив, воспроизведя черты двух великих граждан. Эта фраза положила начало его благосостоянию.

Пользуясь преимуществом людей воспитанных, Федер втихомолку подсмеивался над честными гражданами, с которыми беседовал, но ненасытное тщеславие этих героев принимало все восхваления буквально. Многие солдаты национальной гвардии из этой роты, а затем и из батальона сделали следующее умозаключение: «Меня могут ранить, а так как звук выстрела действует на меня возбуждающе и внушает мне отвагу для свершения великих дел, то в один прекрасный день меня могут убить. Поэтому для прославления моего имени я должен заранее запастись портретом, чтобы впоследствии его могли с почетом поместить в музей второго легиона».

До разорения своего отца Федер никогда не писал портретов за деньги. Обеднев, он заявил, что будет брать за свои портреты по сто франков с обычных заказчиков и только по пятьдесят – с храбрых солдат национальной гвардии. Это объявление показывает, что Федер, с тех пор как разорение отца заставило его отказаться от пустого фатовства художника, приобрел некоторую житейскую мудрость. У него были приятные манеры, и в легионе вошло в моду угощать молодого живописца обедом в день торжественной демонстрации портрета, при помощи которого глава семьи надеялся получить бессмертие.

У Федера было одно из тех красивых, правильных и тонких лиц, какие часто встречаются в Марселе среди грубых физиономий современного Прованса и по прошествии стольких веков все еще напоминают греческие черты основателей города – фокейцев. Вскоре дамам второго легиона стало известно, что молодой живописец осмелился пренебречь гневом отца, в то время неизмеримо богатого, и жениться на девушке, не имевшей ничего, кроме красоты. Эта трогательная история быстро украсилась безумно романическими подробностями; два-три *храбреца* из роты Мартино, оказавшиеся уроженцами Марселя, взяли на себя труд рассказать всем о поразительных сумасбродствах, на которые толкнула нашего героя доселе невиданная любовь, и вот волей-неволей ему пришлось иметь успех у дам роты, после чего многие дамы батальона и даже легиона тоже нашли его очень милым. Ему было в то время девятнадцать лет, но он уже сумел с помощью дрянных портретов уплатить долг г-ну Мартино.

Муж одной из этих особ – Федер обедал у него чаще, чем у других, по той причине, что давал уроки рисования двум его дочкам, – был богатым поставщиком Оперного театра; он достал Федеру бесплатный пропуск на спектакли.

Постепенно Федер перестал подчинять свои поступки причудам бурного воображения; близкое знакомство с проявлениями тщеславия простолюдинов, грубыми и порой непостижимыми, заставило его немного поумнеть. Он горячо поблагодарил даму, доставившую ему возможность бывать в Опере, но заявил, что, несмотря на безумную страсть к музыке, не сможет посещать театр: после перенесенных несчастий (он часто произносил теперь это слово, одобряемое людьми хорошего тона), то есть после смерти женщины, на которой он женился по любви, постоянные слезы ослабили его зрение, и он не в состоянии смотреть на спектакль из зрительного зала, там чересчур много света. Это обстоятельство, вызванное столь уважительной причиной, доставило Федеру, как он того и ожидал, доступ за кулисы и сверх того еще одно преимущество: храбрецы второго легиона постепенно убедились в том, что близкое общение с молодым художником ничуть не опасно для их жен. Выражаясь языком лавок, наш молодой марселец имел в то время в *кармане* несколько пятисотфранковых билетов, но успех, которым он пользовался у лавочниц, сильно ему наскучил. Его воображение, по-прежнему неудержимое, говорило ему, что счастье находится близ женщин хорошо воспитанных, то есть близ таких женщин, у которых прекрасные белые руки, роскошная квартира во втором этаже и собственный выезд. Воспламененный этой химерой, заставлявшей его день и ночь предаваться мечтам, он проводил вечера в Опере-буфф или в залах Тортони и поселился в самой фешенебельной части предместья Сент-Оноре.

Начитавшись литературы, рисующей нравы и обычаи эпохи Людовика XV, Федер знал, что между крупными знаменитостями Оперы и видными государственными деятелями монархии существуют вполне естественные связи. С другой стороны, он видел, что между лавочниками и хорошим обществом стоит непреодолимая преграда. Попав в Оперу, он стал искать среди нескольких крупных талантов в области танца или пения такое лицо, которое могло бы доставить ему возможность увидеть хорошее общество и проникнуть в него. У Розалинды, знаменитой танцовщицы, было европейское имя. Она, пожалуй, насчитывала уже тридцать две весны, но была еще очень недурна собой. Особенно хороша была ее фигура, отличавшаяся благородством и изяществом линий, – качество, которое с каждым днем встречается все реже, – и три раза в месяц четыре или пять наиболее популярных газет восхваляли изысканность ее манер. Один фельетон, прекрасно написанный, зато и обошедшийся в пятьсот франков, определил выбор Федера, которому смертельно надоел хороший тон разбогатевших лавочников.

Целый месяц Федер зондировал почву и через посредство все тех же солдат национальной гвардии знакомил кулисы со своими несчастьями. Наконец он выбрал *средство для достижения цели*. Однажды вечером, когда Розалинда танцевала в каком-то модном балете, Федер, удобно расположившись за декорацией, изображавшей группу деревьев, упал в обморок от восхищения в ту самую минуту, когда опускали занавес. И когда прекрасная Розалинда, провожаемая аплодисментами, вернулась за кулисы, она застала там целую толпу. Все хлопотали вокруг известного своими несчастьями молодого художника, состояние которого внушало опасения. Своим талантом, поистине божественным в пантомиме, Розалинда была обязана впечатлительнейшей душе, какую когда-либо знал театральный мир. Своими прекрасными манерами она была обязана пяти или шести знатным господам, которые были ее первыми друзьями. Ее тронула участь юноши, уже успевшего испытать столько горя. Лицо его показалось ей исполненным необычайного благородства, а его история поразила ее воображение.

– Дайте ему поцеловать вашу руку, – сказала старая статистка, державшая у лица Федера флакон с солями. – Это случилось с ним от любви к вам. Несчастный молодой человек беден и безумно влюблен: вот в чем *незадача!*

Розалинда исчезла и вскоре вернулась: руки и плечи ее были надушены самыми модными в то время духами. Надо ли говорить, что, очнувшись от своего глубокого обморока, молодой марсеlec построил самую умильную физиономию? Ему до того надоело три четверти часа кряду лежать с закрытыми глазами и молчать посреди всей этой болтовни, что взгляд его, еще более выразительный, чем обычно, теперь метал молнии. Розалинда была так растрогана случившимся, что пожелала увезти Федера в своей карете.

Ум Федера не изменил ему в том положении, которое он сам создал, и меньше чем через месяц после первой встречи, подстроенной так ловко, страсть Розалинды сделалась настолько пылкой, что о ней заговорили в мелких газетках. Несмотря на свое богатство – занятие искусством уничтожает в женщинах *денежное благоразумие*, – Розалинда пожелала обвенчаться с Федером.

– У вас тридцать, сорок или не знаю уж сколько тысяч ливров дохода, – сказал Федер своей подруге. – Моя любовь принадлежит вам навеки, но мне кажется, я поступлю неблагородно, если женюсь на вас прежде, чем у меня самого не будет хотя бы половины этой суммы.

– Тебе придется заняться кое-какими мелкими, довольно скучными делами, но это ничего, мой бесценный ангел. Следуй моим советам, запасись терпением, и через два года я сделаю тебя модным. Тогда ты сможешь брать за свои портреты по пятьдесят луидоров, а там еще несколько лет – и я сделаю тебя членом Академии. Достигнув этой вершины славы, ты позволишь мне выбросить твои кисти за окошко, – ведь все уже будут знать, что у тебя шестьсот луидоров

дохода. Тогда брак до любви превратится в брак по расчету, и ты совершенно естественным образом станешь владельцем двадцати с лишним тысяч экю годового дохода, потому что ведь и я тоже буду делать сбережения.

Федер поклялся, что будет следовать всем ее советам.

– Но я превращусь в ваших глазах в скучную педантку, и вы возненавидите меня!

Федер заявил, что его покорность будет равна его любви, то есть будет бесконечна. Он считал, что тяжкий путь, только что начертанный перед ним, был единственным, который мог привести его к женщинам большого света, рисовавшимся его воображению обворожительными и божественно прекрасными.

– Итак, – сказала Розалинда со вздохом, – начнем роль педантки. Из всех ролей, какие я когда-либо играла в своей жизни, для меня это самая опасная. Поклянись же, что ты скажешь мне, когда я тебе наскучу.

Федер поклялся с таким видом, что ему нельзя было не поверить.

– Так вот, – продолжала Розалинда, – прежде всего, твоя манера одеваться слишком бросается в глаза, у тебя слишком жизнерадостный, слишком модный вид: ты, стало быть, забываешь о своих *несчастьях*? Ты должен постоянно пребывать безутешным супругом прекрасной Амели, твоей покойной супруги. Если у тебя есть еще мужество поддерживать существование, то лишь для того, чтобы оставить кусок хлеба ее живому портрету, тому, который она оставила тебе. Я придумаю для тебя чрезвычайно изысканный костюм, который приведет в отчаяние наших жокеев, если кому-нибудь из них вздумается тебе подражать. Каждый день, когда ты захочешь выйти из дому, я буду делать то же, что делает генерал со своими солдатами, – я буду делать тебе *смотреть*. Затем я подпишу тебя на «Quotidienne» и на собрание творений святых отцов. Твой отец был дворянином, когда уезжал из Нюрнберга, он был господином фон Федером. Следовательно, ты тоже дворянин; поэтому будь верующим. Хотя ты и ведешь беспорядочную жизнь, тем не менее ты преисполнен высокого благочестия, и впоследствии именно это ускорит и освятит наш брак. Если ты готов брать за свои портреты по пятьдесят луидоров и никогда ни под каким предлогом не изменять обязанностям христианина, тебя ждет блестящее будущее. В ожидании успеха, который явится непременно следствием этого несколько *тоскливого* образа жизни – а я берусь заставить тебя вести его, я сама, собственными руками, займусь устройством квартиры, где ты будешь принимать молодых женщин, и вскоре они начнут оспаривать друг у друга удовольствие позировать столь оригинальному и красивому молодому человеку. Приготовься к тому, что все в этой квартире будет дышать самой суровой печалью; ибо имей в виду, что, если ты не хочешь быть *печальным при посторонних*, надо отказаться решительно от всего и обречь себя на несчастье жениться на мне сегодня же. Я брошу мой загородный дом, мы выберем другой, в двадцати пяти лье от Парижа, где-нибудь в глуши. Поездки туда и обратно на почтовых обойдутся нам недешево, зато твоя репутация будет спасена. Там, среди милых соседей-провинциалов, ты сможешь проделывать все; безумства, какие необходимы твоей южной натуре, но в Париже и его окрестностях, хотя ты и живешь с танцовщицей, ты должен всегда и прежде всего оставаться *безутешным супругом, человеком знатного происхождения и христианином, добросовестно выполняющим свои обязанности*. Хоть я и некрасива, а твоя Амели была хороша собой, ты дашь понять, что если я понравилась тебе, то только потому, что похожа на нее и что в тот день в Опере (тут Розалинда бросилась в его объятия) ты потерял сознание оттого, что в балете, где я играла, я сделала совершенно такой же жест, какой делала Амели в роли «Маленького матроса».

Именно для того, чтобы добиться возможности услышать подобные вещи, Федер проскучал целый час в день своего обморока за кулисами Оперы; но столь сурового режима он никак не ожидал. Как! Играть роль меланхолика ему, такому живому и веселому от природы!

– Обожаемая Розалинда, – сказал он ей, – дай мне несколько дней на размышление... Что же, сделай меня несчастным, – добавил он, – если тебе так хочется видеть, как я расхаживаю по бульвару с печальным видом.

– Ты поступишь так, как поступила я в начале моей карьеры, – ответила ему Розалинда. – В то время публика была глупа, и мне приходилось показывать ноги. Делая каждый шаг, я должна была думать о своих ногах. Десять минут такой веселенькой прогулки выматывали меня на целую неделю. Так или иначе, а надо сделать выбор. Если ты не погрузишься с головой в глубокую печаль, если ты не будешь ежедневно читать «Quotidienne», и читать так, чтобы при случае в серьезном разговоре повторить все ее рассуждения, то ты никогда не станешь академиком, у тебя никогда не будет пятнадцати тысяч ливров ренты, и я зачахну от скорби, – прибавила она, смеясь, – потому что никогда не стану госпожой Федер.

После этого наступили два или три тяжелых месяца; нашему герою пришлось немало потрудиться, чтобы усвоить меланхолический стиль. Хуже всего для этой живой и впечатлительной южной натуры было то, что, изображая грусть, он становился грустным, и тогда уже ничто не могло послужить ему противоядием.

Розалинда обожала его. Она была умна, как бес, и нашла лекарство. Она купила фрак и две пары брюк, модные, но сильно поношенные, отдала выстирать их и переокрасить; к этому комплекту она добавила часы из поддельного золота, экстравагантную шляпу и булавку с фальшивым бриллиантом. Наконец, все принадлежности костюма были собраны, и вот однажды, когда Федер в течение долгих двух часов игравший роль меланхолика на бульваре, вернулся в мрачном расположении духа, Розалинда вскричала с глубокомысленным видом:

– Вот что подсказала мне моя мудрость! Сегодня мы пообедаем пораньше, я наряжу тебя писцом нотариуса и повезу в Шомьер, там я разрешу тебе делать все то, что ты проделывал когда-то на деревенских балах в окрестностях Марсея. Ты скажешь, что тебе будет скучно на этом балу в Шомьере. Но я отвечу, что стоит тебе войти в роль этакого нелепого Дешалюмо и потанцевать вприпрыжку, как это принято у вас на юге, и ты перестанешь скучать. Затем я оставлю тебя в Шомьере, поеду к Сент-Анжу (речь шла о бывшем танцоре, почтенном пожилом человеке) и под руку с ним приду наслаждаться твоими проделками. Но я притворюсь, что не знаю тебя – так будет благоразумнее, – и не заговорю с тобой – иначе в чем была бы твоя заслуга? А чтобы немного позабавиться самой, я уверю Сент-Анжа, что мы в ссоре, и посмотрим, сударь, чего только не наговорит он мне на ваш счет.

Подготовленное таким образом развлечение вполне удалось. Розалинда скрасила его несколькими забавными эпизодами, напропалую кокетничая с двумя или тремя молодыми людьми, посетителями Шомьера; те узнали ее, и она бросала им самые страстные взгляды.

Эта затея так им понравилась, что они повторили ее несколько раз. Розалинда, наблюдавшая за поведением Федера, давала ему советы, беспрестанно повторяя ему, что он веселится по-настоящему только тогда, когда играет комедию, играет так, словно находится на сцене; она сумела сделать из него такого писца, который в своем подражании хорошим манерам был гораздо более смешон и карикатурен, чем всякий другой писец, но и гораздо более забавен.

– Странная вещь, – сказал однажды Федер Розалинде. – После того как я вчера дурачился целый вечер и проделывал разные штуки, которые меня развлекали, мне было гораздо легче воспроизводить сегодня на бульваре вялые жесты и равнодушный взгляд человека, удрученного воспоминаниями о могиле.

– Я в восторге, что ты начал ходить без посторонней помощи. Наконец-то ты дошел до истины, которую мне хотелось высказать тебе уже двадцать раз, – в ней основной принцип моего актерского ремесла. Но мне гораздо приятнее, что ты дошел до нее сам. Так вот, дорогой Федер, вы, южане, пожелавшие жить в Париже, должны не только играть *комедию меланхолии*,

вы должны играть ее постоянно – так-то, мой милый друг. Свойственный вам вид веселости и оживления, быстрота ваших ответов оскорбляют парижанина, который является по своей натуре существом медлительным, ибо душа его *пропитана* туманом. Ваше ликующее настроение раздражает его, оно как бы имеет целью его состарить, а старость для него ненавистнее всего. Поэтому, чтобы отомстить, он объявляет вас людьми толстокожими, не способными оценить *остроумие*, а ведь остроумие предмет мучительных вожделений каждого парижанина. Итак, милый мой Федер, если ты хочешь иметь успех в Париже, то в минуты молчания старайся напускать на себя такой вид, в котором можно было бы уловить оттенок скорби, уныния, такой вид, какой бывает у человека, чувствующего приближение колик. Погаси свой обычный живой и счастливый взгляд, который составляет мое счастье. В Париже этот взгляд опасен, и здесь ты можешь позволить себе его только наедине с любовницей. Вне дома никогда не забывай о *начинающихся коликах*. Взгляни на свою картину Рембрандта. Посмотри, как скуп он распределяет свет. Вы, живописцы, уверяете, что именно этой особенности он и обязан силой своего воздействия. Так вот, я уже не говорю – чтобы иметь успех в Париже, но хотя бы для того, чтобы казаться сносным и не позволить общественному мнению в конце концов вышвырнуть вас, провинциалов, в окно, будь скуп и не расточай те радостные взгляды, те быстрые жесты, которые вы вывезли с юга. Помни о Рембрандте.

– Но, ангел мой, мне кажется, я делаю честь учительнице, которая обучает меня грусти, а сама дает счастье. Знаешь, что со мной произошло? Я слишком вошел в роль: у моих несчастных моделей делается еще более скучающий вид, чем обычно. Моя меланхолическая беседа наводит на них тоску.

– Да, это правда! – радостно вскричала Розалинда. – Я и забыла тебе сказать: до меня со всех сторон доходят слухи, что тебя считают слишком унылым.

– Никто не захочет больше иметь со мной дело.

– Рисуй всех женщин, которым еще нет двадцати двух лет, такими, какими ты их видишь. Смело изображай двадцатипятилетними всех тех, кому тридцать пять, а добрым седым бабушкам смело давай глаза и губы тридцатилетних. Мне кажется, что ты проявляешь в этом жанре неуместную робость. А между тем это азбука твоей профессии. Чудовищно льсти людям, которые хотят, чтобы их писали, льсти так, словно ты издеваешься над ними. На прошлой неделе, когда ты рисовал пожилую даму, у которой были такие хорошенькие левретки, она получилась у тебя сорокапятилетней, а ведь ей всего лишь шестьдесят лет. Я отлично видела в маленькое потайное окошечко, устроенное в раме твоей картины Рембрандта, что она была очень недовольна, и поверь, если она заставила тебя два раза переделывать прическу, то это только из-за того, что ты сделал ее сорокапятилетней.

Как-то раз Федер сказал одному из приятелей в присутствии Розалинды:

– Посмотрите на эти перчатки. Театральный швейцар продал мне их за двадцать девять су, а между тем они нисколько не хуже тех, за которые мы платим по три франка.

Приятель улыбнулся и ничего не ответил.

– Вы все еще ухитряетесь говорить такие вещи! – вскричала Розалинда, когда приятель отошел от них. – Это на три года задержит ваше избрание в Академию. Вы словно намеренно убиваете уважение, которое уже готово было родиться! Вас могут заподозрить в бедности. Никогда не говорите ничего, что свидетельствует о привычке к бережливости. Никогда не говорите о том, что хоть сколько-нибудь интересуется вас в данный момент. Эта слабость может иметь самые пагубные последствия. Разве так уж трудно постоянно играть комедию? Играйте роль светского человека и всегда задавайте себе вопрос: «Что может понравиться чудаку, который сейчас находится передо мной?» Это правило часто повторял мне князь де Мора-Флорес, тот, что оставил мне по завещанию сто тысяч франков. Когда вы жили еще с храбрыми

гвардейцами вашего легиона, вы сразу догадались, что парижанин, приехав из Сибири, должен уверять, будто там не очень холодно, а приехав из Сан-Доминго, заявить, что там, право, не так уж жарко. Словом, повторяли вы мне, для того, чтобы иметь у нас успех, надо говорить как раз обратное тому, чего ожидает от вас собеседник. И после этого вы упоминаете о такой ничтожной вещи, как цена перчаток! Ваше ателье обошлось вам в прошлом году почти в десять тысяч франков. Я убедила нашего друга Вальдора – это восьмой по счету биржевой маклер, ведущий мои дела, что после всех издержек у вас осталось в конце года двенадцать тысяч франков, которые я и положила к нему на особый счет. Милорд Немогумолчать (так прозвали Вальдора) распространил в нашем кругу слух, что ваше ателье обошлось вам больше чем в двадцать пять тысяч франков, а вы только что с восторгом говорили о двадцати девяти су, заплаченных за пару перчаток!

Федер бросился в ее объятия; это была именно такая подруга, в какой он нуждался.

После успеха, какой Федер в своем поношенном фраке и поддельных драгоценностях имел на балу в Шомьере, он отнюдь не перестал бывать в этом увеселительном заведении и ему подобных. Розалинда об этом знала и была в отчаянии. Число друзей, считавших Федера меланхоликом, возрастало с каждым годом; некоторые из них встречали его на балах в Шомьере; Федер признался им в том, что он необузданный развратник, что только разврат может отвлечь его от мысли о его несчастьях. Разврат не так унижает человека, как веселость. Ему простили, и вскоре все с восхищением заговорили о сумасбродствах, которые умел изобрести мрачный Федер по воскресеньям, чтобы понравиться разным Амандам и Атенаидам, корпящим в будни над шитьем чепчика или платья у Делиля или у Викторины.

Однажды Розалинда серьезно рассердилась на Федера. Его поведение по отношению к ней было вполне корректным, она не имела повода жаловаться, хотя нередко плакала из-за него. Но ее обижало, что, выплачивая ей сумму в триста десять франков семьдесят пять сантимов, Федер искал в жилетном кармане эти семьдесят пять сантимов. Дело в том, что, когда Федер переехал к Розалинде, имевшей великолепную квартиру на бульваре, рядом с Оперой, было решено, что Федер будет платить не половину суммы в восемь тысяч франков – такова была стоимость квартиры, – а только шестьсот двадцать один франк пятьдесят сантимов, то есть столько, сколько ему стоила маленькая холостая квартирка на шестом этаже, брошенная им ради Розалинды. Внося полугодовую плату за эту маленькую квартирку, он и проявлял точность, приводившую Розалинду в такое отчаяние.

– Право, – говорила она со слезами на глазах, – вы так аккуратно со мной рассчитываетесь, словно собираетесь завтра же меня покинуть. Я понимаю, вы хотите иметь возможность сказать своим друзьям: «Я любил Розалинду», – а может быть, даже: «Я прожил с ней три года, я всем ей обязан, она добилась для моих миниатюр лучшего места на выставке, но все же в денежных делах мы всегда вели себя, как брат с сестрой».

Каждое слово этого обвинения, в сущности справедливого, прерывалось рыданиями.

Следует заметить, что, как только Федер, чья репутация в качестве художника-миниатюриста и безутешного возлюбленного своей первой жены росла гигантскими шагами, стал обладателем нескольких тысяч франков, в нем проснулся коммерческий дух. Еще в ранней юности он научился у отца искусству спекулировать и вести записи заключенных сделок. Федер играл на бирже, затем спекулировал на хлопке, на сахаре, на водке и т. д., он нажил много денег, но во время американского хлопкового кризиса потерял все, что имел. Словом, в результате трехлетней работы у него не осталось ничего, кроме воспоминания о сильных ощущениях, пережитых им во время выигрышей и проигрышей на бирже. Эти постоянные перемены закалили его душу и научили его видеть себя самого в истинном свете. Однажды на выставке в Лувре, одетый в черное, как и подобало его серьезному характеру, он смешался с толпой восхищенных зрителей, остановившихся перед его миниатюрами. Благодаря ловкости Розалинды его работы получили блестящие отзывы в семнадцати посвященных выставке статьях, и знатоки, стоявшие перед его миниатюрами, точно повторяли фразы из газетных статей, делая вид, будто только что их придумали. Федер в такой малой степени был сыном своего века, что это обстоятельство внушило ему отвращение. Сделав несколько шагов, он оказался перед картинами г-жи де Мирбель, и тягостное чувство отвращения сменилось в нем чувством неподдельного восторга. Словно пораженный молнией, он замер перед мужским портретом.

«Суть в том, – вскричал он, обращаясь к самому себе, – что я лишен всякого таланта! Мои портреты – гнусные карикатуры на дефекты, присущие лицам моих моделей. Мои краски всегда фальшивы. Если бы у зрителей хватило ума бесхитростно отдаться своим ощущениям, они сказали бы, что женщины, которых я пишу, сделаны из фарфора».

Перед закрытием выставки Федер, в качестве первоклассного живописца, получил орден Почетного Легиона. Тем не менее открытие, сделанное им относительно самого себя, продолжало пускать ростки; другими словами, он убедился и с каждым днем убеждался все более в его совершенной правильности.

«Если у меня есть какой-нибудь талант, – говорил он себе, – то скорее талант коммерческий. Я действую не под влиянием азарта или увлечения, и выводы моих рассуждений верны даже в тех случаях, когда дело не удастся. Поэтому из десяти торговых операций, на которые я решаюсь, семь или восемь оказываются удачными».

Подобные рассуждения несколько уменьшили горечь, сопутствовавшую теперь всем мыслям нашего героя о живописи.

С каким-то странным чувством он заметил, что популярность его увеличилась вдвое после того, как он получил орден. А ведь именно в этот период он чистосердечно отказался от своих бесконечных усилий подражать естественным краскам модели. С тех пор, как он решил придавать телу всех женщин цвет красивой фарфоровой тарелки, на которую бросили лепесток розы, его работа пошла значительно быстрее. Огорчение, которое доставляли Федеру мысли о живописи, почти исчезло, и, думая о том, что в течение десяти лет своей жизни он мог так ошибаться относительно своей истинной профессии, он не испытывал теперь ничего, кроме стыда, когда некто Делангль, один из крупнейших негодяев Бордо, чье уважение и дружбу Федер завоевал во время ликвидации одного неприятного дела, постучался к нему в дверь. Стук был так оглушитель, что при этом затряслись все двери великолепного ателье на улице Фонтен-Сен-Жорж. Делангль, еще издали возвестивший о себе своим громовым голосом,

наконец появился в ателье. Его серая шляпа была сдвинута набекрень и едва держалась на крупных завитках черных, как смоль, волос.

– Черт побери, – крикнул он во все горло, – у меня есть сестра, и она чудо как хороша собой! Ей всего двадцать два года, но она так не похожа на других женщин, что ее мужу, господину Буассо, пришлось привезти ее в Париж почти насильно. Он приехал, чтобы устроить здесь выставку изделий своей фабрики. Я хочу иметь ее миниатюру, и никто, кроме вас, мой друг, не достоин написать такой прелестный портрет. Но с условием, черт побери! Вы позволите мне заплатить за него! Я знаю вашу баснословную щепетильность, но и у меня есть самолюбие. Итак, либо вы берете деньги, либо я отказываюсь от портрета.

– Друг мой, – ответил Федер простодушным тоном и со свойственным ему наивным жестом, – даю вам честное слово: если вы хотите иметь самое лучшее, что может дать современная живопись, вам следует обратиться к госпоже де Мирбель.

Г-н Делангль запротестовал и наговорил нашему герою комплиментов, пожалуй, чрезмерно сильных, но обладавших редким качеством – полнейшей искренностью.

– Я отлично вижу, дорогой Делангль, что нелегко будет побороть ваше упорство, но если особа, о которой вы говорите, действительно так хороша, мне самому хочется, чтобы вы получили портрет, который изображал бы ее *по-настоящему*, а не был бы шаблонным личиком, *состряпанным из роз и лилий* и выражающим лишь пошлую сладость, ничего больше.

Г-н Делангль снова начал протестовать.

– Вот что, дорогой друг, чтобы убедить вас, мы выберем из всех моих работ тот портрет, который понравится вам больше всех остальных, а затем посмотрим вместе лучший портрет из работ госпожи де Мирбельтех, что она выставила в этом году. Владелец портрета любит искусство и любезно разрешает мне изредка приходить к нему работать. Правда, живопись не ваша сфера, но в галерее, сравнивая оба портрета, я докажу вам с совершенной очевидностью, что вы должны обратиться к великой художнице, которую я вам назвал, и ни к кому другому.

– Черт побери! – вскричал Делангль со всей своей бордоской живостью. – Вы такое чудо честности в этой архишарлатанской стране, что мне хочется, чтобы моя сестра, госпожа Буассо, насладилась всеми странностями вашего характера. Хорошо, черт возьми, я согласен на необычный просмотр работ единственного соперника, какого вы можете иметь в области живописи. Давайте пойдем туда завтра.

На следующий день Федер сказал Розалинде:

– Сегодня утром мне предстоит познакомиться с одной провинциалкой. По всей вероятности, она очень смешна. Придумай для меня самый похоронный наряд: если мне надоест притворяться грустным и почтительно выслушивать ее глупые замечания, я по крайней мере буду иметь возможность немного развлечься, играя и шаржируя свою роль отчаявшегося Вертера. Таким образом, если я когда-нибудь попаду в Бордо, трогательное представление о моей глубокой печали будет мне там предшествовать.

На следующий день в два часа Федер, как было условлено, явился в одну из лучших гостиниц на улице Риволи, где остановились супруги Буассо. Не разобрав, кого именно спрашивал Федер, лакей провел его к человеку высокого роста и очень полному. Румяное лицо этого существа изобличало возраст, не превышающий тридцати семи-тридцати восьми лет. У него были большие глаза, довольно красивые, но лишенные какого бы то ни было выражения. Гордый обладатель этих красивых глаз оказался г-ном Буассо. В ночь своего приезда в Париж он совсем не спал-так велик был его страх показаться смешным. И вот, чтобы помочь ему начать карьеру на поприще смешного, портной, по словам хозяина гостиницы, самый модный, через тридцать часов после приезда провинциала нарядил его толстую фигуру в преувеличенно изящный костюм, какой могли носить в то время лишь самые стройные юноши из «Жокей-

клуба».

Г-на Буассо отвлекло какое-то неожиданное дело, и Федер был представлен г-же Буассо своим другом Деланглем. Не смущаясь присутствием сестры и желая показаться художнику остроумным, Делангль сумел в этот день разыграть роль эдакого сорокалетнего гасконца, миллионера и человека с пылкими страстями. Другими словами, развязность, придаваемая возрастом и опытом в делах, а также богатством и привычкой первенствовать в провинции, вдохновила его на такие фразы, что Федер с большим трудом удерживался от смеха. Это не помешало ему сыграть роль отчаявшегося Вертера с еще большим блеском, чем обычно.

«Какая жалость, – думал он, – что нас не видит Розалинда! Она постоянно упрекает меня за то, что я слишком робок в обществе тех дураков, перед которыми мне приходится выставлять напоказ мою скорбь. Пусть бы она посмотрела сейчас, достоин ли я стать членом Академии».

Молоденькая г-жа Буассо была похожа на девочку, хотя брат ее беспрестанно повторял, что в день св. Валентины (14 февраля) ей должно исполниться двадцать два года; она родилась в этот день, поэтому ее и назвали Валентиной. Она была высока ростом и хорошо сложена; лицо ее, почти безупречного английского типа, могло бы послужить образцом совершенной красоты, если бы не слишком полные губы, в особенности нижняя. Однако этот недостаток придавал ей выражение доброты и, если мы решимся выразить здесь мысль художника, говорил о способности полюбить страстно, что, кажется, отнюдь не показалось молодому Вертеру достойным презрения. В этой красивой женщине его поразило одно-линия лба и основания носа: эта линия выдавала глубокую набожность. И в самом деле, когда Федер, выходя из кареты перед великолепным особняком обладателя прекрасного портрета кисти г-жи де Мирбель, улучил момент и спросил у Делангля: «Не правда ли, она набожна?», – тот воскликнул:

– Право, друг мой, вы такой же великий отгадчик, как и художник! Сестра! Сестра! Федер угадал, что ты богомолка, а ведь пусть заберет меня дьявол, если я когда-нибудь говорил ему об этом. В Бордо набожность это большое преимущество, особенно в соединении с миллионами Буассо: она дает ей возможность собирать пожертвования в торжественных случаях. Могу вас уверить, дорогой друг, что моя сестра просто обворожительна, когда обходит всех присутствующих с красным бархатным кошельком, украшенным золотыми кистями. Я сам подарил ей его два года назад, приехав из Парижа; это была моя третья поездка. Ее кавалер – один из ультра нашего города; в такие дни он надевает бархатный костюм французского фасона и привешивает к поясу шпагу. Великолепное зрелище! Стоит посмотреть на него в нашем соборе св. Андрея, прекраснейшем из французских соборов, хотя его и строили англичане.

Слушая пылкую речь брата, г-жа Буассо покраснела. Было что-то простодушное в ее походке и манере держаться, когда они проходили по роскошным залам. Это поразило Федеру; в течение целой четверти часа он ни разу не вспомнил о роли Вертера. Он стал задумчив по собственному побуждению, и когда г-н Буассо грубым тоном провинциального богача крикнул ему: «Итак, моя жена – богомолка! А что же, по-вашему, представляю собой я?», – Федер не нашел в себе остроумия, чтобы посмеяться над ним и насладиться нелепостью его поведения; он просто ответил:

– Богатый негоциант, известный своими удачными спекуляциями.

– Ну нет, господин Федер, вот тут-то вы и ошиблись. Я владелец великолепных виноградников, сын богатого помещика, и вы непременно отведаете винца, сделанного еще моим отцом. Но это не все: я слежу за литературой, и в моей библиотеке имеется Виктор Гюго в прекрасном переплете.

При других обстоятельствах подобная речь никогда не осталась бы без ответа со стороны Федеру, но сейчас он был занят тем, что робко поглядывал на г-жу Буассо. Она тоже смотрела на него с робостью, не лишенной известной прелести, и краснела. Дело в том, что застенчивость

этой очаровательной женщины была просто невероятна; брату и мужу пришлось устроить ей сцену, чтобы она решилась посмотреть несколько картин в обществе незнакомого художника. Этого художника, человека весьма почтенного и кавалера ордена Почетного Легиона, она представляла себе, если можно так выразиться, настоящим чудовищем. Воображение рисовало ей какого-то краснбая с длинной черной бородой, увешанного золотыми цепочками и все время осматривающего ее с головы до ног. Ей казалось, что он должен говорить без умолку и очень громко, даже позволять себе иногда нескромные словечки.

Увидев худоцавого стройного молодого человека, одетого в черное, с часами на черной тесемке и с почти незаметной красной ленточкой, приколотой к фраку, человека с самой обыкновенной бородой, она сжала руку мужа, до того велико было ее удивление.

– Неужели это и есть тот самый знаменитый художник? – спросила она его.

Она начала уже успокаиваться, когда ее брат вдруг так грубо назвал ее богомолкой, что выставило ее набожность в неблагоприятном свете. Она не решалась посмотреть на молодого художника, боясь встретить насмешливый взгляд. Однако, успокоенная его скромным и даже грустным тоном, она наконец решилась поднять глаза. Каковы же были ее радость и удивление, когда она увидела серьезный и почти взволнованный взгляд художника! Крайняя застенчивость влечет за собой, если она соединена с умом, способность размышлять о мельчайших жизненных явлениях со всей пронизательностью страсти и расширяет умственный кругозор. Так было с Валентиной. В результате эпидемии холеры она рано осиротела, и ее отдали в монастырь, который она оставила только для того, чтобы выйти замуж за г-на Буассо. Последний казался ей таким же чудаком, как и ее брат, но был лишен веселости и остроумия, делавших приятным общество Делангля, когда он сдерживался и переставал думать только о том, чтобы казаться светским человеком. Валентине внезапно пришел в голову целый ряд мыслей относительно знаменитого художника, который оказался столь непохожим на существо, созданное ее воображением. И, вспомнив о том, что он почти отказался писать ее портрет, она огорчилась. Следует заметить, что необходимость позировать для портрета, в течение продолжительного времени выдерживать наблюдательный взгляд незнакомого человека представлялась ей прежде ужасной пыткой. Это было настолько серьезно, что ей понадобилось, чтобы преодолеть свое нежелание, вспомнить, как она клялась перед алтарем подчиняться мужу во всем, что касалось сколько-нибудь значительных ее поступков. Брат повторял ей два или три раза, каждый раз сильно преувеличивая, те доводы, которые высказал Федер, чтобы побудить их предпочесть ему знаменитую художницу – г-жу де Мирбель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.